

## Игроки

— Семнадцать!..

— Господи, опять этот номер! Воды, скорей воды, тете Кате плохо! И что у тебя за руки, там столько номеров — ты что, не можешь вытянуть что-то другое?

— И при чем тут я, если большевики забрали у тети Кати ее дом на Эстонской именно в семнадцатом году?!

Тетя Катя живет в большой квартире на Мечникова — это все, что осталось от многочисленной недвижимости ее мужа, азартного одесского негодяя. С тех пор прошло больше 50 лет, но тетя Катя все еще отчетливо видит перед собой широкий, покрытый зеленым сукном стол, разбросанные по нему карты, ровные стопки ассигнаций, яркий свет ламп и молодого человека в светлом костюме, небрежно откинувшегося назад с папиросом в руке...

— Пять!..

— У меня пять раз, по разу на каждой карте...

— Тетя Катя, а это правда, что вы один раз проиграли в лото пять тысяч за вечер?

— Кто это говорит? Конечно, нет.

— Я так и думала — врут, как всегда.

— Конечно, врут, — я проиграла десять!..

Старый стол под раскидистой сливой, деревянные скамейки по сторонам, вьющиеся стебли плюща, ажурные листья винограда, овальные лепестки петуний, высокие столбики мальв, "Саша, ты помнишь наши встречи..." на соседней даче...

— Девятнадцать!..

— "В жизни только раз бывает девятнадцать лет..."

— Не девятнадцать, а восемнадцать: "В жизни только раз бывает восемнадцать лет..."

— Ой, можно подумать, что девятнадцать бывает два раза!

— Тетя Эльза, а что вы делали, когда вам было девятнадцать?

— Что я делала? Думала, за кого выйти замуж.

— У вас что, было из кого выбирать?  
— Конечно! Я выбирала из Баталова и Жерара Филипа.  
— Ну, и кому из них больше повезло?  
— Я думаю, Жерару Филипу — представляете, каково было бы ему в нашей коммуне на Островидова!..

Тетя Эльза только недавно переехала в отдельную квартиру на Черемушках, и еще долго не сможет забыть, как они вдесятером размещались на сорока восьми квадратных метрах минус коридор, удобства во дворе, душ на углу Торговой и Княжеской через три квартала...

— Двадцать девять!..  
— Почин...  
— И почему это двадцать девятый трамвай летом всегда такой полный?  
— Скажи еще спасибо, что только летом, — вон Галина Ивановна полная не только летом, но и вообще весь год!..

Летняя высота неба, предвечерняя теплота моря, белые росчерки чаек, черные штрихи лодок, шум набегающих волн, "Арлекино, Арлекино..." где-то вдали над берегом...

— И что это за песня? Кто это поет?  
— Та какая-то Пугачева, она с этим арлекином недавно что-то выиграла в Сопоте.  
— Дядя Иголь, а сопот — это когда тихо говорят?  
— Нет, Людочка, когда тихо говорят — это шепот, а Сопот — это когда громко поют.  
— Три!..  
— Деньги брал...  
— "Три миллиона тонн зерна сдали в закрома Родины одесские хлеборобы..."  
— Папа, а что такое "закрома Родины"?  
— Ну... это такое место... это такое место, где все есть.  
— А, я знаю! Это то же самое, что Торгсин. Там тоже все есть, я там один раз был с мамой.

— Девяносто девять!..  
— Выверни свои глаза и читай еще раз. Такого нет.

Такого, правда, еще нет: никто пока еще не знает, что на памятнике рядом с именем тети Беллы будет написано "1914-1999".

— Да? Тогда шестьдесят шесть...

— Людя, поиграем потом в шестьдесят шесть? Или в девятку?

— Изабелла, не морочь голову: примус еле горит, иглолок нет — и когда мы будем играть, если чай остынет быстрее, чем мы его будем греть?

Людя, урожденная Людвиг, в советском паспорте Людмила... никто, кроме сестер, так ее давно не зовет. Только они еще помнят, как красивый мужчина с модно подстриженными усами развешивает игрушки на елке, стоящей посередине большой комнаты; он негромко напевает *O Tannenbaum*, а потом кричит с сильным немецким акцентом: "Людя, Людечка, посмотри!" — распахиваются высокие двери, и в комнату входит стройная большеглазая девочка лет двенадцати: "Что, папа?". Папа, он же дедушка Ваня, он же Иван Степанович, он же Иоганн Юнг, главный кондитер кафе Фанкони....

— Двадцать!..

— Не верю.

— Что значит — не верю?! Двадцать, можешь сам посмотреть.

— Ну, они же сказали, что через двадцать лет мы будем жить при коммунизме. Так я теперь как каждый раз слышу "двадцать", так не верю, и все!

Солнце исчезает за высоким обрывом. Затихает дневной бриз. На песок ложатся длинные тени.

— Четыре!..

— Квартира!

— По одному, по одному!..

— Я всегда говорила Витьке, что у его мамы было четверо детей: трое умных и он.

— Да? А я никогда не знал, что Витькина мама была с Молдавии.

— При чем здесь? Какой Молдавии?

— Вы ж сами сказали — Ион. Чисто молдавское имя.

Темнеет.

— Эльза, ты что, не видишь, что я уже ничего не вижу?

— Мама, как я могу видеть, что ты ничего не видишь, если я сама давно ничего не вижу!..

На небе появляются тусклые звезды. У горизонта загораются судовые огни. Из пионерлагеря наверху доносится "Не уходи, еще не спето столько песен..."

— Двадцать восемь!..

— Хорошо помешай!..

— Кстати, о Молдавии. Когда в Одессу пришли румыны, мне было как раз двадцать восемь. Хотя выглядела я максимум на двадцать семь. Папа к тому времени уже успел научить нас, как и что, — конечно, столько лет кондитером в "Лондонской", — и я пошла работать на хлебзавод. Хлеба, конечно, вынести было нельзя — не буду говорить при детях, как именно нас проверяли, — так тогда я подумала про тесто: надо же было как-то кормить Игоря и Эльзу, а спечь хлеб мы могли и дома. И вот один раз, перед тем как уйти с работы, я положила немного теста — всего три кило, ну, максимум четыре — дети, закройте уши — себе в лифчик. И пошла домой. На проходной мне никто слова не сказал, но май в том году был, как в этом август, а что делает тесто на жаре? — правильно: подходит. Так пока я дошла до дома, на меня посмотрело столько мужчин — больше, чем за всю мою остальную жизнь. А один так вообще захотел меня потрогать именно там — так я так заорала, что он наверняка подумал, что я ненормальная недотрога, — это с такими формами... Жалко, что он не знал за тесто... В общем, Моноля был потом очень недоволен... в отличие от детей...

Когда началась война, дядя Игорю было было семь лет, и он навсегда запомнил разрушенный бомбой дом на Конной, румынских солдат и мокрые стены катакомб; а теперь у него лодка и курень недалеко от дачи прямо над пляжем.

— Шестьдесят один!..

— Гагарин.

— Ну да. Валерчик.

— Почему Валерчик? Юрий. Юрий Гагарин.

— Именно Валерчик. Ты когда родился, Валерчик?

- В шестьдесят первом.
- Вот видишь. А ты — Гагарин...
- Ну, и дедушка Ваня...
- И дедушка Ваня, конечно... В декабре.
- В декабре. Шестнадцатого.

Валерка старательно накрывает монетками выпавшие цифры; ему еще нет десяти, и он пока не может помнить о том, что потеряет родителей и брата в течение всего трех лет, — это произойдет позже, а пока он думает только о цифрах, еще не подозревая, что за ними всегда что-то есть...

- Восемьдесят девять!..
- Вот-вот, дедушке Ване как раз исполнилось восемьдесят девять.
- Семьдесят два!..
- Правильно, дедушка родился в тысяча восемьсот семьдесят втором.
- Десять!..
- А бабушка Маруся была младше его на десять лет..

Одно за другим числа ненадолго повисают в воздухе, нанизываются на время, уплывающее в небо тонким дымом от дядиниговой сигареты, и пропадают вместе с ним в темноте. Кто-то из взрослых перемешивает на столе черно-белые карточки лото, которые мелькают числами — 12, 31, 40, 57, 78 — и превращаются в черно-белые фотографии. Тысяча девятьсот двенадцатый год, тетя Катя и бабушка Маруся, темноглазые южные красавицы, на Николаевском бульваре; тридцать первый год, дедушка Арсений, молодой белокурый атлет, рядом с бабушкой Людой, тонкой миниатюрной брюнеткой, на пляже "Ланжерон"; сороковой год, тетя Света, серьезная кудрявая девочка в светлом платье с оборками, вместе со своим братом Толей, красивым мальчиком в матроске; пятьдесят седьмой год, тетя Света и дядя Сережа, студенты университета, у комбайна в степи; семьдесят восьмой год, дедушка Арсений в саду на даче, одна из последних его фотографий...

Они играют в лото на старом деревянном столе в желтом конусе света, подвешенном на электрическом проводе в звенящей темноте южной ночи.

Ярко освещенный изнутри шестидесятиваттной лампой накаливания, этот конус пространства и времени висит над столом в нашей гостиной.

Худенький круглолицый мальчик с головой, едва высовывающейся из-за стола, — это дедушка, объясняем мы сыну, этот серьезный молодой

человек в очках с зачесанными наверх волосами — его папа, папа твоего дедушки, твой прадедущка, Том, вот эта красивая молодая женщина, аккуратно передвигающая по картам металлические кружочки, — твоя прабабушка, объясняем мы и садимся играть в лото. Мы раздаем карты, раскладываем в столбики монеты и хорошо перемешиваем содержимое мешка. Семнадцать, объявляет сын, закрывает нужную клетку, отрывается от карт и взглядывает на десятилетия назад.

Заключенные в конус теплого ночного воздуха, навсегда вырезанного из времени светом старой электролампы, они играют в лото на деревянном расшатанном покрытом истертой клеенкой столе, выкрикивая номера, смеясь и переругиваясь друг с другом.

Меня увеличение, мы смотрим на них сверху, то приближаясь на несколько сантиметров, чтобы разглядеть бегущего по столу муравья, то отъезжая за Малое Магелланово облако, чтобы понять, где они находятся по отношению к Ближнему Космосу.

Мы смотрим на них сверху и сбоку, немного снизу и со стороны, глазами десятилетнего мальчика и случайного прохожего, соседки Нины Степановны и сорокалетнего мужчины.

Мы долго смотрим на них и никак не можем разобраться, кто же выигрывает, но отлично понимаем, что не проигрывает никто.

Мы то замедляем течение времени и порой даже останавливаем его, превращая в фотографию, то ускоряем до предела, прокручивая целые годы за несколько секунд.

Мы хорошо понимаем, что для тех, кто сидит за старым столом, завтра — это наше вчера, и что будущее наших детей — это прошлое наших внуков.

Мы наблюдаем за тем, как окружающая местность постепенно меняется, как сидящие вокруг стола люди исчезают, уступая место другим, как сам стол в конце концов растворяется на фоне глинистых склонов, но при этом в конусе света всегда остается кто-то из тех, благодаря которым сегодня мы и сидим в нашей гостиной.

Мы видим их в ярком свете ламп внутри прожитых ими жизней, а когда наконец рассматриваем все детали до самых последних мелочей, то снова берем в руки пульт управления и переключаемся в режим жизней возможных, но не случившихся, — там есть и такая кнопка.

— Dix-huit\*! — выкрикивает тетя Белла, переключая шум авеню д'Опера за окном. Тогда, в тысяча девятьсот восемнадцатом, родители

---

\* Восемнадцать (франц.).

в последний момент передумали оставаться в большевистской Одессе, и она выросла в пятнадцатом округе Парижа, удачно вышла замуж и переехала на правый берег поближе к Большим Бульварам, где у ее Эмманюэля была популярная кондитерская *Londre\**.

— *Achtzehn\*\*!* — отвечает ей тетя Эмма с тенистой Пратерштрассе. Нет, в гражданскую им все же не удалось попасть в Париж, и после нескольких лет приключений они осели в Вене по протекции одного из многочисленных папиных родственников. Она окончила гимназию рядом с квартирой Иоганна Штрауса, выучилась бухгалтерскому ремеслу и поселилась с мужем недалеко от плавучих мастерских, где он работал слесарем.

— *Eighteen\*\*\*!* — отзывается бабушка Люда с 62-й стрит. Когда началась война, родители отправили ее через Стамбул в Будапешт, куда она так никогда и не добралась, познакомившись на пароходе с молодым фельдшером, который направлялся в Америку. После мытарств Эллис-Айленда и нищеты Ист-Сайда они в конце концов обосновались возле Централ-парка, где ее Арни открыл собственный кабинет с медной табличкой "*Dr. Plasterer*" на двери...

Мы всматриваемся в лица трех сестер и видим в них отражения того, что не случилось, — морщинки от грусти, отеки от ностальгии, круги от разлук. Мы пытаемся прокрутить еще немного вперед, чтобы узнать, что могло бы произойти с ними потом, но черты размываются, изображение теряет резкость, и мы отказываемся от этой затеи, понимая, что человек несет в себе только приблизительные очертания своего будущего; понимаем это и возвращаемся к игрокам за деревянным столом. Спокойной ночи, говорит жена через какое-то время и уходит в спальню, через несколько минут за ней следую я, и сын остается один перед конусом света, висящим в полутьме на старом электрическом проводе. Мы просыпаемся среди ночи, разбуженные его голосом: взволнованный, он стоит перед постелью, чтобы позвать нас в гостиную; мы идем за ним и видим посреди темноты остановленное изображение, которое ярко освещено изнутри: стол, лежащие на нем карты, кубики лото и несколько белых страниц с рисунками; деталей не разобрать, но сын нажимает кнопку увеличения, и перед нами оказывается перевернутый портрет, небрежно сделанный карандашом, как будто кто-то из игроков, заскучав, в рассеянности начал во-

\* Лондон (франц.).

\*\* Восемнадцать (нем.).

\*\*\* Восемнадцать (англ.).

дять грифелем по бумаге. Переворот, увеличение, поворот — и мы видим перед собой лицо нашего сына, набросанное чьей-то умелой рукой задолго до его рождения.

Люди перетекают друг в друга, не отвлекаясь на даты.

Человек появляется на свет задолго до момента рождения и долго живет после смерти.

Время существует для того, чтобы, остановив его, бесконечно долго рассматривать срез.

Париж

